

Уважаемые пользователи!

Обращаем ваше внимание на отсутствие 10 страницы, на которой по содержанию литературно-художественного альманаха «Ставрополье» №3-4, 1968 г. должен начинаться отрывок «Сашка Черный Бамбук» Михаила Усова из книги «Судьбы». К нашему огромному сожалению, эта страница безвозвратно утеряна.

.....

.....

сотни, а то и тысячи подростков — одному. А тут еще созрел бас. Вроде бы определился в жизни Алексей, подействовал ему высокий покровитель из сонма святых. Полюбился юный солист из церковного хора всему причту — священнослужительскому штату, а главное — отцам города, властям предержащим. Но тут все пошло наперекосяк. С чего же началось — едва ли кому ведомо. Правда, не одними церковными песнопениями услаждал он прихожан — пристрастие имел и к мирскому пению. Не то что крамолы — ничего предосудительного в том не видели. Мало ли кому взбредет затянуть во все горло по пьяной, скажем, причине? Или просто из-за того, что так хочется. Молодых, нетраченных сил избыток или сердце сладко затомилось? А то сойдется гурт парней на темной улице — слово за слово, смех да гомон, а там забренчит балалайка, пройдутся пальцы по гармошным планкам, по клапанам. Как же не вскинуться чьему-то голосу, хотя бы Алешкину? На что был строг его папая Данил Сергеевич, полный георгиевский кавалер, да и тот вольного мирского пения не пресекал, считал молодежной забавой. Даже на солдатчине отыскивали песенников, дорожили лихими запевалами. Иную роту не по командиру знали — по запевале.

Среди шумных праздничных компаний за Казенным мостом на полянах Чурековского леса безошибочно отмечали ту, где находился Алексей. Как разномерки-солдаты подстраиваются в шеренге к тому, кто выше ростом, так и компаньоны по гулянке брали тон и выравнивали голоса по известному на весь город басу, и хор приобретал слитность, а с нею певческую силу. Охотнее всего пелись такие, как «Есть

на Волге утес», «Ревела буря, дождь шумел», «Из-за острова на стрежень», но не прочь были вдруг переключиться на нечто противоположное, и озорная бесшабашная песня «Во саду ли, в огороде», приобретая самые неожиданные словесные завитушки, с гиканьем и свистом разносилась окрест. И не одна пара еще твердых ног, всунутых в сапоги или штиблеты, срывалась с места и пускалась в пляску со стуком-перестуком, ладошным хлопаньем по голенищам и подметкам.

— Эх, выросла петрушка!

Парень девушку целует —
Думает, игрушка!

Получалось, что отмечали и ценили молодой бас в храме божьем и в грешной компании. Поэтому трудно сказать, где же соскочил Алексей с прямой стародавней дорожки, откуда и с чего начался этот «наперекосяк». Только в многотысячных событиях и эпизодах революции 1905 года оказался и такой, как дерзкий захват важного Георгиевского арсенала. И что бы вы думали — среди смельчаков был тот самый обладатель баса! Обыватель, свято верящий в законность царской власти, так и ахнул от изумления, или с перепугу, или еще с чего-то, прознав про крамольный проступок Алексея Сидельникова. Ахнул и тут же рассвирепел. «Ах, такой-сякой, на какое дело решился!». И сразу же был Алексей отвержен от всего и вся, предан холуйско-мещанской анафеме. Еще больше сгустился черносотенный дух вокруг его имени, когда пришло известие о безжалостном приговоре военно-полевого суда. «Таких-то вот только и надо вздерживать!».

Обыватель, внешне безликий и безобидный, хранит в себе злобу и мстительность, как нарыв, гной и сукровицу.

Тогда не выдержало отцовское сердце георгиевского кавалера Данила Сергеевича. Служил он верой и правдой царю-батюшке, жизни не жалел и был отмечен почетной воинской наградой — через всю грудь слева направо кресты всех степеней, медали, полный бант георгиевского кавалера. Бывало, в воскресенье идет старый заслуженный царский солдат в собор, чтобы прослушать обедню — праздничную церковную службу. По такому торжественному поводу натягивал он лаковые сапоги со складками на голенищах «в гармошку» (только для этого случая натягивались на ноги лаковые сапоги), а от плеча к плечу — золотые, серебряные, бронзовые регалии. Вся улица дивуется. Кто ни идет — фуражку снимает, раскланивается. А любого чина звания офицеры, приставы и городовые первыми отдавали честь герою-кавалеру.

И вот впервые пришлось Данилу Сергеевичу не в урочное время, не в воскресный день обрядиться в парадное и навешивать на грудь почетные регалии. Как отец, пекущийся о сыне, пошел он вымаливать снисхождения у суда, у властей к осужденному. Что довелось пережить георгиевскому кавалеру — никому того не прознать. Но прощению был дан надлежащий ход, и, снизойдя к отцовскому ходатайству и считаясь с заслугами георгиевского кавалера, высшая мера наказания Алексею была отменена.

Так оказался он под вечным подозрением в неблагонадежности к трехсотлетнему дому Романовых.

Рикошетом судьба ударила по младшему из Сидельниковых: «Сергейчеву внуку», как звала улица Сашку. Свет не без добрых людей — давно сказано. Подойдет малолеток к харчевне, часто с братом Колькой, старше на два года, — их здесь покормят. Забредут на базар, на так называемый обжорный ряд, и жалостливые тети, чем-то сами смахивающие на закутаные в тряпье большие чугуны, щедро извлекут жирные куски требушки или мягкие сальники, схожие с котлетами. Торопливо

глядя широкими ладонями по ребячьим головам незнакомые женщины находили особые простые и добрые слова, они и произносили эти слова не так, как все, — так произносят их теплые материнские губы: «Снидайте, мои маленькие. Снидайте!», «Без матери, што цыплята без наседки: заплошали». Иногда забегали на квартиру горничные, потчевали сирот объедками с господского стола. На всю жизнь остался вкус чего-то ни с чем более не схожего, что бы ел да ел.

Очень тянулся Сашка за мальцами в школу, даже преодолев ребячью робость, протискивался за дверь и, едва выдавливая слова, просил записать его в ученики. Так бывало не раз. Откроет чуток дверь, а слезы сами по себе скатываются по щекам. И уже слышен раздраженный голос: «Ты опять здесь? Сколько же раз тебе говорить? Ты не понимаешь русского языка?». И капают, капают слезы, горячие — как угольки.

У кого людское сердце, а у кого — камень ледяной.

Начал он приглядываться к тому, что делают счастливы, его одноклассники в школе. Нашлись дружки, они показывали всякие каракули, что выписывали в классе, произносили буквы. Вслед за ними произносил эти буквы и по-мальчишески дивился и гордился — он тоже учится, у него свой класс на дворе, на улице. Не было тетради, листа бумаги — выписывал палочкой на песке, а зимой — на снегу. Так осилил азбуку и чтение, а после наловчился писать. Правда, это потребовало еще больших усилий и каллиграфически выглядело на двойку.

Прошло Сашкино детство без матери и без школы. Вырос, можно сказать, сам по себе. Но еще не мало досталось ему на коротком ребячьем веку — у кого доля, у кого недоля.

ГЛАВА,
ИЗ КОТОРОЙ ВЫ УЗНАЕТЕ О
«ДОМАШНЕЙ» ВОЙНЕ ЛЕТА 1918 ГОДА,
КАК ОНА ЗА ОДНИ СУТКИ
ПРИБАВИЛА ЦЕЛЫЕ ГОДЫ ЧЕРНОМУ
БАМБУКУ, И О ТОМ, В КАКОЙ
СМЕРТНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ ОН ПОПАЛ В

ТОТ ДЕНЬ И В ТУ НОЧЬ

В течение дня перестрелка то усиливалась, то сходила на нет. Истомленные лежаньем на перегретой солнцем земле, а еще более неутоленной жаждой, кое-кто из бойцов начал покидать позиции, тянуться в тыл, расходиться по домам. Казаки, прознав про то через своих лазутчиков, усилили нажим. Разрозненная стрельба приняла фронтальный характер. Сблизившись, отдельные казачьи группы повели прицельный огонь. Не охнув, свалился Аушев, посучил вроде с ланцой ногами, поскреб землю пятерней — и замер. Его внезапная молчаливая смерть пугающе подействовала на бойцов. Необстрелянным людям, коим до этого смерть представлялась чем-то отвлеченным и для них необязательной, чем-то очень далеким, она вдруг заявила о себе рядом, предстала в своей ужасающей обнаженности и неумолимости. Кто-то торопливо прикрыл побелевшее лицо убитого с остекленевшими глазами его же фуражкой. Кто лежал поближе — перебежал вправо и влево и теперь с нового места поглядывал время от времени в сторону покойника. Пока товарищи Аушева не понесли его в тыл, домой. Встречай, старая мать, своего сына, не все еще слезы у тебя выплаканы, не отстонала ты, не откричалась последним, отчаянно-безутешным криком. Не вместится материнскому крику в саманной хатенке, что на углу Владикавказской и Карамыкской улиц...

Вечер не принес ни прохлады, ни успокоения. Винтовочная стукотня прорезалась пулеметными очередями. Эхо перекаtywало их по закустаренным лощинам, по балкам. Все вокруг стало ненадежным, потеряло свой привычный мирный вид. Пулевые обжигающие свисты не смолкали, невидимо просверливая воздух, ища себе кровавую поживу.

Теперь уже не одиночки покидали позиции.

В сумерках, из-за холмов и деревьев внезапно выносились всадники, но не сливались в лаву, а здесь же исчезали

за новыми древесными купами и холмами. Это казачьи начальники, их подхорунжий да хорунжий, подьесаулы да есаулы со связными и коноводами горячили коней, подбадривали повстанческие цепи. Иногда отчаянная сорви-голова, видать, из молодых «начихиренных» казаков с диким гиком проносился по ничем не обозначенному фронту. Отходящие горожане открывали бесприцельную, на вскидку стрельбу. Припав к конской шее, безрассудный удалец еще какое-то мгновение скакал и так же, как появился, внезапно исчезал. Степенные казаки-бородачи, не очень охочие подставлять себя под пули, скопидомно, по-крестьянски сберегали своих гнедых и вороных, живое тягло в хозяйстве. Даже самые разбойные и алчные из бородачей, кто не прочь был «обарахлиться» за счет горожан, придерживали пароконные брочки по дворам, подальше от греха — неровен час подкосят красные из винтовок, а то еще лупанут из трехдоймового страшилища.

Батарейного огня пуще всего опасались станичники. Доставалось им от него и на германском, и на турецком фронте, а тут, не дай бог, можно сказать, от своих. По колокольне лупанули! Снесли наших наблюдателей.

Меркло, тускнело небо. Только над закатом еще дотлевали облачные лоскутья — все, что осталось от огнистого полымя. Скапливался в ложбинах и густел сумрак, надвигался на косогоры, на поля, на выгон. В этом сумраке взблескивали выстрелы, по-волчьи посверкивали там и сям, приближались стайно.

Упал Андрей Харитонов, молодой боец с Карамыкской улицы. Расплываясь из-под него, недвижимого, краснела и в темноте лужа. Сохлая окаменевшая земля не сразу впитывала кровь.

Земля ждала долгих благодатных дождей, доброго налива зерна, пшеничного урожая.

Война у себя дома словно прибавила за одни сутки целые годы Сашке Сидельникову. До этого жаркого дня он оставался мальчишкой с припухшими губами, готовыми к улыбке и смеху в

любую минуту, с крупными, приплюснутыми хрящеватыми ушами. «Мало тебя драли за эти уши, вот они и не торчат»,— сказал как-то отец, и нельзя было понять шутейно это или на самом деле. Санька потихоньку, без чужого глаза, оттягивал свои уши, тиранил их до красноты, стараясь представить как бы с оттопыркой выглядели эти уши. Но всякий раз слуховой аппарат точно возвращался на исходное место, едва только стоило выпустить их из ухватистых пальцев. Неизвестно чем раздосадованный, Сашка всей правой лапищей, сжатой в кулак, звезданул себя в правое ухо, от удара даже отшатнулся башкой и закусил губу. Как и следовало ожидать, ничего толкового из этого не вышло. Лишь приглядчивый отец маленько удивился: «Что с ухом у тебя, Сашка? Иль во сне навалился дуром и отдал?» Тогда он, чтоб окончательно не выдать себя, отмолчался.

В тот день, когда отец привел его с братом во двор, застроенный кирпичными зданиями, Сашка без особого интереса глянул туда, глянул сюда. Угловое одноэтажное здание недавно являлось магазином торговой фирмы Лодочниковой с сыновьями. Большие окна-витрины от самой крыши до тротуара наглухо прикрывались на ночь железными гофрированными жалюзи. По их грохотанью по утрам жители окружающих кварталов узнавали время — «Лодочникова открыла магазин», что равнозначно шести часам. По грохотанью по вечерам, когда магазин закрывался, точно знали — сейчас семь часов, можно брать за чаепитье и ужин. Другие здания заняты были под хозяйскую квартиру, под жилье прислуги и склады, в двухэтажном — кондитерская и конфетная фабрики. Двор вымощен кирпичом. Ворота и ограда железные, решетчатые. Все это с мальчишеских лет известно Сашке и Николаю. Но брательник, получив одинаковое с Сашкой приказание отца, вскоре разговорился с бойцами-одногодками, куда-то зашел с ними. Сашка какое-то время крепился, выполнял приказание,

пока его скучающий взор не обратился к подростку, увлеченно играющему с железными стаканами у ограды. Не замечая постороннего, он подкидывал и ловко подхватывал тяжелые стаканы, составлял из них пирамиды. Вскоре и Сашку настолько это заняло, что он, преодолевая робость и смущение перед незнакомцем, несмело шагнул, еще и остановился. Сделал еще несколько шагов и тут, встретив нахмуренный взгляд подростка, начал переминыться с ноги на ногу — не хотелось выказать себя трусом, но в руках у подростка очень уж угрожающе зажаты диковинные стаканы. «Эй, ты!—окликнул он Сашку, не спуская с него сердитых глаз.— Ты зачем приперся сюда? А ну катись отсюда колбасой!». Не имея никакого желания «катиться колбасой», ведь отец строго-настрого приказал никуда со двора не уходить,— Сашка, никак не умея подавить робость, не зная, как себя вести, вдруг просительно заговорил: «Покажь, что у тебя, а?». И тот переменял гнев на милость, не ожидая повторения просьбы, он с покровительственным видом охотно принялся разъяснять чужаку назначение гранатометных стаканов. Судя по всему, роль инструктора ему пришлась по душе, тем более, что Сашка проявил себя с самой лучшей стороны — не перебивал, не лез в спор, жадно и почтительно слушал своего товарища.

Когда отец вышел из канцелярии, то немного постоял у порога, глядя на разыгравшихся двух подростков: «У них детский ум, им бы, еще поиграться, а приходится...»,— и, махнув рукой, Алексей Данилович позвал сына.

Вдвоем они прошагали через две комнаты и остановились в третьей. Здесь сидели два писаря: чернявый, мохнатобровый, схожий с армянином, Багизардов, и по всему своему обличью русский,— Чугунов. Где проживал первый, Сашка не знал, а второй — в той части города, что издавна звалась «Рязанкой».

Видя, какого «служилого» привел старший Сидельников, оба ласково, потцовски, начали расспрашивать Сашку о

его познаниях своего города. У того, как говорится, сразу развязался язык: вопросы вовсе пустяковые, его страшил экзамен по осведомленности в материальной части оружия, а где находится та или иная улица — он знал. Даже щегольнул такими подробностями, как точным знанием господских домов и разных заведений в любых концах города, а не только в центре, чем приятно удивил и обрадовал писарей: «Ты скажи, все знает! Откуда ты узнал?». Осмелев, Сашка пустился рассказывать биографию — как он еще в 1915 году продавал газеты и телеграммы-сводки военных действий, кому из господ разносил в кредит по квартирам. «А ты — знаток,— заявили писари, весьма довольные беседой. — Поэтому назначаем тебя, Александр Сидельников, с настоящего дня, восьмого февраля 1918 года, рассыльным,— переглянувшись молча, они поправились,— ну рассыльным сказать — это неправильно. Так на гражданке говорят, а ты, Александр есть ныне человек военный, проходящий военную службу в пулеметной команде. Понял? Должность твоя — вестовой. Будешь доставлять в штаб отряда донесения и рапорта, приносить из штаба приказы, всякие пакеты. Ясно?». От такого оказанного ему доверия, от счастья быть вестовым, да где — в пулеметной команде! — у Сашки сладостно стало на душе, и он, выходя с первым поручением, окрыленный доверием, земли под собой не чуял.

Скоро его узнали и в штабе первого Георгиевского революционного отряда. Размещался штаб в доме богача Кащенко. Высокий, по-военному подтянутый командир отряда, как считал его юный вестовой, строго осматривал Сашку и неизменно спрашивал: «Ты чей сын? Сидельникова Алеши, это — твой отец?». После чего принимал пакет из рук вестового.

Бывал и в единственной в городе гостинице «Лувр», где обосновались всякие партийные комитеты — от большевиков до эсеров. Сашка безошибочно, с закрытыми глазами мог

добраться до комнаты с табличкой на дверях «РСДРП(б)». Его встречал дядя Яков Данилович Сидельников: «Что там у тебя, а ну давай сюда!». Забрав почту, односложно приказывал: «Подожди». Через десять, двадцать минут, а то и через полчаса вручал бумажку или пакет, строго наказывая передать отцу. «Дошло до мозгов? Ежели отца не окажется, вручи тогда Никонову, командиру первого пулеметного взвода. Отцу или Никонову, а больше никому. Дошло? То-то, смотри мне, без промашки! Не то — породственному задам тебе ременную взбучку».

За вестовым Сашкой «промашек» не числилось, да и взбучек также.

Впервые в тяжелый, можно сказать, смертный переплет наш вестовой попал на войне города с мятежными станицами.

С утра Сашка в качестве связного изнывал и падал духом от ничегонеделания. Из штаба его послали в ближнюю рощу, что за ярмаркой с заколоченными торговыми рядами. Раньше в зелени, под акациями, белели палатки, между ними линейки дорожек с дощаными грибками для часовых. По праздникам играл военный духовой оркестр, в белых кителях и фуражках прохаживались с дамами господ офицеры. Прозвали рощу «Лагерем». Сколько уже лет не разбивали здесь палаток! Акации от самовольных порубок поредели, мало что напоминало о геометрически прямых дорожках — везде топорщился, безудержно лез бурьян, что вырастает на некогда обжитых, а теперь заброшенных, всеми покинутых местах. Лебеда, конский щавель, чертополох, распаренные солнцем, источали густой удушающий запах. Однако по старой памяти звалось все это «Лагерем», и на штабных разлинованных картах сохранялось за рощей то же название.

Все, казалось, забыли про Сашку — есть он или нет его. Ему уже не хотелось срывать с ремня карабин, закинутый за спину. Гимнастерка успела пропитаться потом и потемнеть под

карабином, вес его словно удвоился. И выхватывать тесак из ножен надоело. Что из этого? Выхватишь, попробуешь на пальце остроту его лезвия и опять одним движением пошлешь тесак в ножны. На полынном выгоне стояла батарея. Глазеть на орудия, на зарядные ящики долго не будешь, тем более, что разморенные жарой артиллеристы не ахти как разговорчивы.

Горожане в одиночку и группами, мужики и бабы, не говоря о ребятам, скапливались на окраине, а самые любопытные добирались до «Лагерей», прохаживались по железнодорожному полотну. «Эх, вот бы вскинуть карабин и трахнуть сейчас хотя бы разок над ними!»

На какое-то время Сашка ожил, даже толстые губы его беззвучно раздвинулись — смеху не получилось.

А солнце час от часу палило сильнее, будто плавясь от адской жары и истекая на землю.

Да и думать о собственном героизме, что так нравилось ему и не должно было потускнеть, — стало почему-то не так завлекательно. Лишь неблизкие винтовочные выстрелы заставляли его вздрагивать и настораживаться. «Вот бы туда!» — завистливо думал он, готовый разувериться в особой важности своей службы вестового. Назойливо припоминается оплошно оброненное писарями вовсе не геройское, а даже умаляющее слово «рассыльный», сказанное при первом знакомстве.

Вконец одурманенный жарой и злостью на свою нескладную судьбу, Сашка и голову в нахлобученной фуражке опустил, а тут еще захотелось пить и чего-то пожевать. «Связно-ой!»

Он не вдруг понял, что это относится к нему, что это его, Сашку, кличут.

Когда кликнули вторично, он рванулся, как те, поначалу малые верткие вихорьки, что, сорвавшись чуть приметно где-то на зеленях или жнивье, вскоре бушующим вихрем вздымаются к небу, мечут на недосыгаемую высоту пыль и песок, соломинки и бодылки, птичье перо и все прочее, что подвернется по пути.

Получив записку и устный приказ и повторив его командиру, Сашка помчался на фланг, к садам Госпитальной слободки. Воображение заработало с новой силой. Подавшись корпусом вперед, сшибая носками сапог молочай и ромашку, он представлял себе, как малолюдная, почти пустынная степь огласится раскатами «ура!» и красные цепи, сверкая штыками, бросятся в несдержимую атаку. «Ура-а-а!» — гремело грозно, победительно... Что-то пронзительно жикнуло, просвистело над головой. На бегу Сашка глянул вверх — небо с изливающим нетерпимым жаром солнцем блеснуло и ослепило его, сменилось тьмой. Пробежав по инерции еще с десятков шагов, он всем телом ощутил, как что-то просверлило воздух. «Казачки стреляют!» — ожгла догадка. Внезапный страх скрючил его долговязую фигуру, захотелось брякнуться на землю, слиться с нею и полынью, ромашкой, молочаем. Где же наши? Куда он бежит?.. Не сбиться бы, не попасть к казакам. Карабин, словно пудовая гиря, бьет по спине, от соленого пота щиплет и саднит кожу. Словно в сговоре с карабином, бил по левой ноге тесак. Замокревшие портянки не уберегли от потертости.

На бегу стянул со спины карабин — оттягивает руки. И что только не проделывал вестовой, но вес карабина не уменьшался. Опять забросил его на спину. Бьет на каждом подскоке, колотит по избитому телу.

Только морщится вестовой, дышит часто, запаленно.

Пересек железнодорожное полотно с пятнистыми от мазута шпалами — примерно половину расстояния до правого фланга наших позиций.

Поискал глазами паровоз, чтобы напиться из тендера, — не оказалось паровоза, а до вокзала, до депо больно не с руки: далеко и в стороне. А у вестового — приказ. Истомился, огруз. От той резвости, с какой он припустил с «Лагерей», ничего не осталось. А жарыща прибавляется, не дает пощады. Не то что за ствол, за затвор — за фуражный козырек нельзя взяться.

...Что это за люди?.. Обличье не казачье,— городские, свои. Кучкой спешат на вокзал. Кого-то несут... Не отвести взора. Несут кого-то. И когда подошел — похолодело на сердце: убитого несут!

Качается голова на истончавшей шее, спутались волосы, пугающе белеют нос, губы, впалые щеки...

Вполоборота, безотрывно смотрел вслед за молчаливой кучкой Сашка. Схватившись, кинулся по своему адресу — к садам Госпитальной слободки. И стоит в глазах, не забывается неживой.

Бессильно свесилась голова, качается из стороны в сторону, бьется...

Торопятся те, живые, кто несет убитого.

Жикнуло раз, второй, третий — казаки усилили обстрел. Сашку брали на мушку, чьи-то глаза жадно высматривали его, кто-то, с кем и встретиться не довелось за все ребячьи годы, теперь старается выследить его, как выследили бойца. Да не один сейчас скрытый от Сашкиных глаз охвачен хищным желанием послать свою смертоносную пулю в него — городского подростка, кто совсем недавно батрачил на хуторе Этока у дядьки Пелипаса Гордея Павловича.

Свистели, жикали пули. Хлестали выстрелы.

«Эй, Пелипасы!» — озлившись, накаляясь ненавистью к тем, кто, не показываясь, перезаряжают винтовки и стреляют, стреляют в него,— хрипло крикнул Сашка. Взметнув крепко сжатый кулак, погрозил врагам.

Услышат не услышат, увидят не увидят,— об этом не подумал Сашка, весь переполненный новым, всеохватным чувством. Так же немилосердно палимый, с опекившимися, истрескавшимися губами, придерживая приклад карабина,— побежал к садам.

То, что звалось фронтом, а вернее — передовой, выглядело пугающе безлюдно. Кое-где копанки, неглубокие ямки, ровики с откинутой перед ними холмистой землей, истоптанная трава. Ни одного окопа полного профиля, никаких ходов сообщения,— все поделано

неумело, второпях.

У «максима», как по-свойски называли тяжелый на колесах пулемет, увидел Матюхина-младшего. Тот не знал, что предпринимать, придет ли подкрепление? Понятна была его радость при появлении Сидельникова — все-таки теперь не один. И у прибывшего внезапная улыбка раздвинула толстогубый рот от уха до уха. Но радость встречи сменилась тревогой. Сашке некому вручить записку и тем самым выполнить приказ командира. Что же делать с запиской? Тех, кому она предназначалась, здесь не оказалось. Где же они? Как к ним добраться? Матюхин-младший ничего не знал даже о брате.

«Что мне делать с пулеметом? Его не поднять, а оставить нельзя: казаки захватят»,— горевал Матюхин. Как бы в подтверждение его слов, между кустов и фруктовых деревьев показались неизвестные люди. Они передвигались с опаской, часто останавливались и, приложив ладони над глазами, всматривались перед собой. «Казаки!» — вырвалось у обоих. Матюхин мгновенно развернул «максим», прильнул к прицелу. Сидельников брякнулся рядом на место второго номера. И пулеметная очередь метнулась в наступающих. Сменили ленту, еще раз пригляделись к кустам и деревьям и дали вторую длинную очередь: враги затаились где-то по окрайку садов и кустарников.

«Запасных лент больше нет,— торопливо произнес Матюхин, видя, что Сидельников шарит вокруг руками.— Отстрелялись!»

Задерживаться на оставленном всеми рубеже, у замолкшего пулемета не имело никакого смысла. А стрельба слева по фронту возобновилась. Невольные опасения и прямой страх цепкой паутиной опутывали обоих пулеметчиков: может, казаки зашли в тыл, вошли в город?.. Не сговариваясь, они ухватили пулемет за хобот, потащили за собой. Только теперь в боевой обстановке убедились, как тяжел «максим»,— они его тянули, а он будто упирался, застревал в промоинах, дергал назад. Измучившись, обливаясь жарким

потом, они не выпускали из рук хобота, изредка лишь оглядывались — не настигают ли казаки? Как на грех, зачистили кусты с угловатыми корнями. Боярышник, кислица, терен, шиповник искалывали их на каждом шагу, обильный пот разъедал кожу. Видя, что им не дотащить пулемет до города, страшась быть схваченными врагами, от которых нельзя ожидать пощады, они оба подумали об одном — придется бросить пулемет, ведь из него вышла одна обуза. «Разберем и разбросаем части по кустам!». — «Давай!» Не мешкая, сняли затыльник, замок и забросили подальше, вслед полетели другие части. Сунув станок с катками в куст, они еще раз огляделись и, не задерживаясь больше ни на минуту, побежали насколько хватало сил. Показалась железнодорожная станция с водонапорной башней, закопченное здание паровозного депо.

На вокзале перепуганные пассажиры бестолково сновали из комнаты в комнату, по коридору тащили за собой мешки, узлы, сундуки, корзины. «Ва-арька-а!» — отчаянно звал женский голос. Кто-то молился вслух: «Заступись, милосердный, помилуй нас грешных!».

Не встретив никого из бойцов, хотя бы и незнакомых, Матюхин и Сидельников жадно, давясь и обливаясь, наглопались теплой воды из бака, и с тем же неутрачиваемым чувством тревоги побежали в город. «Где же наши?» — томила неотвязчивая мысль. Недалеко от окраины, у бойни их окликнули вооруженные люди. Это оказались бойцы под командованием Александра Поликарповича Сложеникина.

Выслушав обоих, он приказал им явиться в свою часть, обо всем доложить командиру, заодно и о том, что Сложеникин со своими бойцами занимает район бойни. «Обязательно доложи,— строго обратился он к Сидельникову, — в противном случае, если не выполнишь приказ,— расстреляю!» Сказал, как обрубил.

По хоженной-перехоженной Госпитальной улице, Сидельников добежал до пересечения ее Владикавказской.

Близко жила его родная тетка, мог ли он минуте ее дом? Здесь его накормят, наконец, за весь долгий день. Вот и знакомый дом, а сколько раз он открывал эту калитку!

Но что такое? Калитка на запоре. Перелез — дверь в хату также на замке. Вокруг — ни души. «Называется, поел», — обескураженный, озирался по сторонам. Направился к подвалу и еще за несколько шагов приметил свет, проникающий через щель. «Попрытались, спасаются от войны», — ему живо представилось, что стало с трусихой-тетушкой, когда загремели выстрелы. И он, улыбаясь, стукнул кулаком в дверь: «Тетя Лёля! Это я — Шурка Сидельников!»

При тусклом свете коптилки в подвале плакали и молились пожилые и молодые женщины с детьми. Едва они увидели на парне карабин и тесак, как на все голоса начали упрашивать его оставить оружие на дворе: «Не дай бог, вдруг застрочит, забахает! Мы и так до смерти перепуганы». Пришлось ему спуститься в подвал безоружным. Но этим не закончилось. Когда он справился с едой и направился к двери, тетушке представилось — ее племянник идет на погибель. Запричитав по-бабьи, тонко и жалобно, она загородила племяннику выход из подвала: «Шура, не ходи! Я тебя не пущу!». Опустилась на колени и, осеняя себя крестом, принялась отвешивать поклоны: «Господь всевышний! Образушь раба божьего твоего, не дай ему смерти тяжкой!». Затем, не поднимаясь с земляного пола, плача и стеная, обратилась к племяннику: «Шура! Родной мой, не ходи! Отцу твоему, арестанту, мало того, что себя загубит, так он еще и тебя, меньшенького, за собой потянул... И Коленьку... Хоть ты послушай родную тетку: не ходи, Шура! Тебя убьют, чует мое сердце — убью-ют!»

Доводы племянника, в том числе и угроза быть расстрелянным лично Сложеникиным за невыполнение приказа, — не имели никакой силы для тетушки, она не отпускала племянника. Ей на все голоса помогали остальные

соседки.

«Вот попал в переplet!» — никак не мог выбраться из подвала озадаченный и рассерженный парнишка. Теткин плен затягивался, смешное казалось бы положение «узника» могло обернуться бедой. И он не помнит как выскочил из подвала, схватил карабин и тесак и — был таков.

После подвального шума и стенаний, его поразила недобрая тишина. Ни один звук не улавливался ухом. Лишь свои шаги отдавались на улице, — это было неприятно и настораживало. Тогда он, машинально придерживая приклад карабина, чтобы не бил по спине, — припустил по Владикавказской. Добежал до угла — разорвав тишину, один за другим грянули два винтовочных выстрела. Стреляли явно по нему из каменного здания женской гимназии.

Не раздумывая и не отвечая на выстрелы, он побежал по Старому бульвару — скорей, скорей до своих! У дома Лодочниковой пустынно, тихо и во дворе. Может, темнота мешает что-либо рассмотреть? Калитка на запоре. Сквозь железные решетки заметил в глубине двора высоченную фигуру — человек также настороженно приглядывался и прислушивался. Такой, с каланчу, мог быть не кто иной, как пулеметчик Ковалев. Природа наделила его удивительным ростом, чего он стеснялся с младости и поэтому сутулился, стараясь хотя бы этим приуменьшить собственный рост, но тщетно. «И что меня гонит кверху, лучше бы излишек направить в плечи, как-никак плечистый получился бы парень». Его невысказанной мечте, замурованной глубоко, не суждено было осуществиться. Мальчишки и теперь, когда Ковалеву подходило уже к сорока годам, озорно кричали за его спиной: «Дядь, а дядь! Пымай горобца на крыше!». Или: «Гля, дядька, а выше верблюда! Счас зацепится чубом за телеграфные провода». И профессию себе выбрал Ковалев такую, чтобы меньше быть перед людьми: кузнеца. Рано по холодку прошагает через весь город до кузницы, избегая встреч, сунет

заготовки в пылающе-раскаленное гарно, ухватит молот и клещи и пошел, пошел стучать по белому, пышущему жаром, железному куску, по болванке. Не раз еще привычно сунет ее в самое пекло и без часов — их никогда не имел Ковалев, — через точный отрезок времени безошибочно отыщет железными клещами, таким же рассчитанным движением положит нужной стороной на наковальню и опять-таки без малейшего промедления вскинет молот и жакнет точно, без перекося. У наковальни не имелось ему равных. В пулеметной команде он вел себя так, как будто ничто по сравнению с кузницей не изменилось: раньше остальных просыпался, став к пулемету, — забывал о времени и обо всем постороннем; зато и пулемет на учебном стрельбище не знал у него отказа, не посылал свинцовую очередь «за молоком», куда-либо мимо фанерной или дощаной мишени. Спокойный, выдержанный в условиях обычной военной службы, Ковалев в полной мере проявил эти качества в первом же бою. Когда восставшие казаки завязали на улицах перестрелку, Ковалев остался за старшего во владениях Лодочниковой. При нем находилось три человека — Рожков, Кашеваров и Кириченко с двумя пулеметами. Как старший этого маленького гарнизона, он выбрал такую огневую позицию для своих пулеметов, что один держал под контролем ворота с калиткой, а второй — ограду из железных переpletов и стоек на каменном фундаменте. Дальнейший ход событий показал целесообразность подобной расстановки пулеметов.

«Дядя Саня! — начисто забыв о воинском обращении, несказанно обрадованный тем, что встретил человека из своей пулеметной команды, — закричал Сидельников, прильнув головой к железным решеткам. — Дядя Саня! Откро-ой!».

Высокая фигура дяди Сани, едва проступая в темноте, оставалась безмолвной и неподвижной. В мальчишеском нетерпении, не скрывая радости, Сидельников снова позвал:

«Дя-я-дя Саня, откро-ой, это я — Сидельников!»

Из глубины двора подошел Ковалев: «Откуда это ты, племянник?» — и открыл калитку. Стараясь с первых же слов рассказать обо всем, что довелось ему, Сидельникову, испытать за минувший день, чувствуя себя в безопасности за оградой среди товарищей, — он сбивчиво, повторяясь, говорил и говорил. Ковалев слушал и не перебивал — пусть хлопец выскажется, выплеснет из себя все, что ему пришлось увидеть и перенести, пусть разгрузит потрясенную душу. «Главное, парень, ты остался цел и невредим», — подведя черту из всего того, что выпало Сидельникову, по привычке немногословно заключил Ковалев. Не приученный к отвлеченному мышлению, весь занятый создавшимся положением в доверенном ему маленьком гарнизоне, он прикидывал в это время — где лучше использовать Сидельникова? Передряг ему выпало больше чем достаточно, да и страху натерпелся, ведь какой из него солдат? В тринадцать-то годков! Его сверстники за мамкину юбку прячутся, а он и донесение передавал, и под пулями бежал, и вдвоем с Матюхиным бой с казаками приняли, расстреляли две пулеметные ленты, и тот пулемет не дали врагу, не оставили на позиции, а насколько хватило сил тащили за собой, после разобрали матчасть и раскидали по кустам. Не струсили, не спаниковали — с умом все сделали. «Считай, тезка, ты теперь настоящий революционный боец!» — не умел Ковалев высказываться рьяно, возвышенно, высказал это как умел, продолжая продумывать нелегкий для себя вопрос: где лучше использовать Сашку? Людей у него в обрез, да из наличия в три человека выбыл неизвестно куда Кириченко. Убить или ранить его не могли. А без него один из пулеметных расчетов остается некомплектный, без второго номера. Если Сашку за второй номер? Вроде бы так? А нет, не так. Парнишка он смысленый и за недолгий срок научился подменять телефонистов на коммутаторе. Надо же было случиться — в такой боевой момент

никто из команды связи не оставлен для дежурства на коммутаторе отрядной телефонной станции. «Слышь ты, Сашка! — приняв окончательное решение, обратился к нему Ковалев. — Ты умеешь дежурить на коммутаторе, у тебя это ловко получается. А то звонят отовсюду, а никто из нас не соображает по телефонному делу. На кузнице мне все сподручно, все знакомо, а на коммутаторе техника не та, что к чему и для какой надобности — мне и Рожкову, и Кашеварову, как темный лес. Прибегу к коммутатору, все звонят, все кнопки раскрыты, а я не знаю, что и куда втыкать».

Считая беседу законченной, а приказ отданным, Ковалев зашагал к помещению, где находился коммутатор. Сашка не отставал. Отыскав ночник-коптилку, Ковалев затеплил огонек и поставил в угол. Сашка присел у коммутатора, осмотрелся и начал соединять абонентов. Связь возобновилась.

Казаки войдя в город, действовали без единого плана и общего руководства, сражались неуверенно. Бой вели подгорненцы и александрийцы, остальные жители взбунтовавшихся станиц предпочитали не покидать своих мест, не бросаться очертя голову в братоубийственную войну.

Проникнув в центр, казаки не сделали даже попытки занять городскую телефонную станцию, никто из них не переступил порога Совета рабочих и солдатских депутатов. На что неопытен в военных делах Сидельников, но и он, сидя у коммутатора, узнавал новость за новостью, настроение у него поднималось. Из огнепарков потребовали передать трубку старшему из пулеметной команды. «Дядя Саня, вас требуют!» — позвал он Ковалева. Судя по всему, с ним беседовали из штаба. Спрашивали о положении на улицах и в кварталах вокруг дома Лодочниковой, о тех, кто сейчас находится в расположении пулеметной команды и команды связи, интересовались обстановкой — что предпринимают казаки?

«Пока не суются в наши ворота»,— простодушно ответил Ковалев. Ему приказали продержаться до дневного света, а утром к ним придут на помощь и освободят. «Ладно»,— закончил на этом телефонный разговор старший горстки бойцов пулеметной команды. Спohватившись, что сказал не так, как положено, исправился: «Есть продержаться до утра!».

Сидельникову некогда было прислушиваться к новым разговорам, он успевал только отвечать на вопросы и соединять аппараты на невидимой линии. Гарнизон города вел переключку, проверял расстановку сил и готовился к общему наступлению на мятежников.

Провода несли напряженную службу.

Коммутатор был средоточием этих уходящих во мрак и сбегающих к нему из мрака проводов.

Требовательно сигналили «зумеры».

Всякий раз, прикладывая трубку к уху, бесшумный телефонист говорил — четко, по-военному: «Отрядная слушает».

И соединял, соединял.

Отвлек его дядя Саня. Забежав со двора, он еще из дверей вполголоса произнес: «Приукороти огонь — виден свет. Заметят казачманы — беда. А ты молодой, тебе еще жить да жить надо. Да не кричи, а говори шепотом. Понял? Говори шепотом»,— и видя, что Сидельников уменьшил светлый язычок ночника и сразу же перешел на разговор вполголоса, повернул к выходу из помещения.

Не прошло десяти минут, как на дворе застрочил пулемет. Сидельников определил — стреляет Рожков, и не ошибся.

Пулемет замолчал, зато и близко и далеко вспыхнула перестрелка. Вскоре огневой бой охватил весь город, перенесся к слободкам, товарной и пассажирской станции.

Близко с оханьем разорвалась ручная граната. Оказывается, один из казаков-бородачей, таясь за домами,

пробрался к ограде дома Лодочниковой. Видать, оробев, он не бросил гранату, а сунул ее в переплетение железной ограды. Рожков дал очередь из пулемета, но понизил и угодил в фундамент ограды. Разлетевшиеся осколки кирпича и рикошетные пули перепугали бородача — он будто прирос к стене дома.

Об этом догадались после, а пока, выждав какое-то время, к ограде медленно подошел Ковалев. Винтовка у него была на боевом взводе. Заприметив гранату, он похолодел от затылка до пальцев на ногах, однако взрыва не последовало — механизм не сработал. При осмотре выяснилось—владелец гранаты не сдернул предохранительное кольцо. «Вояка! — чуть не сплюнул со зла Ковалев.— Ловок нагайкой лупцевать, а в этом деле нагайка не поможет». И, сдернув кольцо, метнул гранату на угол дома.

Сидельников вызвал огнепарки, торопясь поделиться новостью: «Казачки подобрались тишком-молчком к Лодочниковой ограде, а Рожков ка-ак чесанул из пулемета!.. Дядя Саня... да это наш старший Ковалев, поднял неразорвавшуюся гранату, ее казак сунул в ограду,— и той гранатой убил казака! Остальные убежали... сколько их было? Темно, ничего не видно».

Очень довольный, что ему довелось первому доложить по телефону о полуночной схватке у дома Лодочниковой, Сидельников дежурил у коммутатора до утра. «Отрядная слушает,— слышался его негромкий голос.— Соединяю».

Утром пришло подкрепление. Сидельникова сменили знакомые телефонисты из команды связи, а он, сломленный бессонной ночью и нервным напряжением за минувшие сутки, спал прямо на полу. И никто из связистов, никто из пулеметчиков не будил его, крупногубого подростка, всю тревожную ночь напролет продежурившего на коммутаторе с маленьким мигающим огоньком солдатского ночника.